

*Розалия ЧЕРЕПАНОВА*  
**УСТНАЯ ИСТОРИЯ:  
 ОТ «СОЦИАЛЬНЫХ РАМОК ПАМЯТИ» —  
 К ОБРЕТЕНИЮ СУБЪЕКТА**

Проект, о результатах которого мне хотелось бы рассказать, родился в 2006 г. и заключался в записи устных биографических интервью с представителями провинциальной (южно-уральской) интеллигенции, предполагая своей целью изучение коллективной памяти о советском прошлом. Применение методов *oral history* к изучению интеллигенции было сознательным и довольно рискованным экспериментом. Интеллигенция всегда находилась по стыке культурных потоков власть — общество, на пересечении официальных и неофициальных дискурсов, обладая профессионально вышколенной памятью и профессиональными задачами по хранению памяти. В отличие от многих других сходных начинаний, этот проект не был сосредоточен на какой-либо одной эпохе или проблеме, будь это опыт войны, или взаимоотношения национальностей в бывшем СССР, или создание «семейных хроник». В результате, за 2 года работы было записано 132 интервью, 97 женских и 35 мужских. В профессиональном плане это были врачи (7 женщин, 2 мужчин), школьные учителя (49 женщин, 9 мужчин), инженеры (6 женщин, 12 мужчин), преподаватели средних специальных учебных заведений (5 женщин, 1 мужчина), преподаватели ВУЗов (7 женщин, 4 мужчин), литераторы (2 мужчин), музыканты (5 женщин), экономисты (7 женщин, 1 мужчина), библиотекари (4 женщины), юристы (1 женщина, 1 мужчина), актеры (2 мужчин) и представители отдельных иных профессий (6 женщин, 1 мужчина). Условно, чтобы обозначить некую условную смену эпох, я разделила рассказчиков на три круга: в старшую группу вошли рассказчики 1917–1940 гг.р., в среднюю — 1941–1960 гг.р., младшую образовали люди, родившиеся после 1960 г. Самый пожилой участник проекта родился в 1917 г., самая молодая респондентка — в 1973 г. Таким образом, предполагалось, что последовательное чтение всех материалов может в какой-то степени иллюстрировать перемены на ментальной карте советской интеллигенции, а также социальную динамику вокруг нее и с ее участием. Географические рамки исследования в основном совпадают с границами Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области и часть Башкортостана).

Обязательным условием при записи интервью было отсутствие жесткого опросника. Респондент должен был оказаться в ситуации свободного «выстраивания» собствен-

ной жизни, а не ответов на предложенные обстоятельства. Интервьюеру надлежало задать лишь общие линии развития беседы («Расскажите о вашей семье, о том, как сложилась ваша жизнь»), по ходу разговора пользуясь наводящими и уточняющими вопросами, в зависимости от всплывающего материала. Предполагалось, что таким образом исследователю удастся снизить неизбежное давление на респондента и получить его репрезентацию перед самим собой, «поймать» то, что самому интервьюируемому представляется важным в его жизни. Для этой же цели все собственные имена рассказчиков прикрывались намеренно условными псевдонимами. Несмотря на эти предосторожности, в общем собрании присутствует несколько предельно «закрытых», совершенно «немых» интервью (рассказчица Бз, 1957 г.р., например), но и в них есть своя ценность. Как говорится, «тем, что они молчат, они кричат»: главная интрига для исследователя как раз и состоит в расшифровывании и истолковании не только сообщений, но и умолчаний. Правда, здесь возникает вопрос, до какой степени историк может входить на поле психолога, и как он может работать с человеком, если он на это поле входить не будет.

Устная история базируется на чтении «текста» человеческой памяти. Однако на протяжении последних десятилетий психологическая составляющая в проблематике памяти все более отступала на второй план перед культурной и социальной доминантами. От Э. Дюркгейма до М. Хальбвакса и Я. Ассмана исследователи были склонны тотально социализировать человеческую память: «Мы помним только то, что можем сообщить и для чего можно найти место в рамках коллективной памяти»<sup>1</sup>. Оставляемое тонкое различие между социальной и персональной памятью принято считать относительным, поскольку даже индивидуальные воспоминания трактуются как смесь персонального и социального<sup>2</sup>. Или, в более гибкой формулировке: человек создает свои воспоминания, дабы придать смысл своей прошлой и настоящей жизни, обеспечить комфортное самоощущение и самоидентификацию, и этот процесс, с одной стороны, индивидуальный, с другой, общественный, основан на постоянном взаимодействии личной и коллективной памяти<sup>3</sup>.

В свое время поворот историков, социологов и культурологов к проблематике и ресурсам памяти был естественным следствием понимания всех «застывших», разрешенных к появлению, текстов как отражений, в той или иной степени, «властного дискурса», а также результатом исследовательского пресыщения работой с «властными дискурсами». Обращаясь к устной истории, гуманитарии надеялись найти в еще «теплых», только что, на их глазах рожденных источниках следы «незамутненной» властными дискурсами картины мира, увиденной с точки зрения «подавленных», «молчащих» общественных групп и слоев, с высоты «маленького человека»<sup>4</sup>. Поэтому от штудий по «устной истории», развернувшихся на постсоветском пространстве, первоначально ожидали очень многого. Речь шла о возможности с помощью устных источников изучать советскую повседневность, менталитет, духовный мир человека XX века<sup>5</sup>.

Такого рода информация устная история, в самом деле, предоставляет. Это тот благодарный материал, который находится на поверхности и легко, даже слишком

легко, снимается. Респонденты повествуют о тяготах (до-, после-)военного времени и о неких «народных» рецептах выживания в этих условиях. Рассказы могут фиксировать векторы социальной мобильности, горизонтальной и вертикальной, иллюстрировать способы дополнительного заработка, картины изменения нравов, или содержать несколько подлинных фактических «изюминок». С таким материалом у аналитика, действительно, не слишком большое поле для работы, и ему остается разве что проиллюстрировать «тяжелые времена» архивными данными, подвести изложенное под количественную статистику или попытаться классифицировать названные практики «выживания».

Но все это остается тем поверхностным уровнем, при котором исследователь не выходит за пределы внешнего анализа и внешней критики оказавшегося в его руках источника. Пределы этому уровню устанавливает препятствие этического порядка: в процессе общения между интервьюером и информантом складывается определенное доверие, появляются некие личные отношения, после которых кажется просто кощунственным «копаться» в рассказе и в личности респондента с той же степенью откровенности и отстраненности, с какой историки «копаются» в личности, скажем, Александра Герцена или Екатерины Великой. Кроме того, живой рассказчик может активно воспротивиться возможному нелестному для него интерпретациям его биографии, личности и его откровений. Возможно, именно по этим причинам методология устной истории разрабатывалась, фокусируясь, во-первых, вокруг самого процесса интервью, дабы сделать эту процедуру возможно более корректной и минимизировать погрешности; во-вторых, вокруг поиска способов углубить анализ получаемого материала при сохранении этической дистанции и уважении приватности рассказчика. Как в первом, так и во втором устная история стремительно приближалась к социологии или антропологии, широко используя свойственные им практики опроса и наблюдения, стилистический анализ, контент-анализ, дискурсивный анализ, метод анализа текстов, включающий, в изложении О. С. Поршневой, следующие стадии: 1) филологический анализ терминологии; 2) лингвистический и грамматический анализ с применением знаний в области синтаксиса и семантики языка, которым написан текст; 3) тропологический анализ; 4) обрисовка «моделей мышления и форм аргументации, присутствующих в тексте»; 5) «выявление типа мировосприятия и культурных предпочтений, на которых базируется текст»<sup>6</sup>. Однако, вопреки этим попыткам углубить аналитический потенциал и расширить возможности устной истории, не подвергая многостороннему критическому анализу рассказчика во всей его субъективности и индивидуальности, ее противоречия росли, а «научность» вызывала все большие сомнения.

Горизонты устной истории стали казаться совсем узкими, когда обнаружилось, в какой большой степени на информанта оказывают влияние ожидания и установки самого интервьюера, так что, строго говоря, как констатировала М. В. Лоскутова, возможности устной истории сводятся не более чем к созданию очерка сегодняшних представлений о прошлом и настоящем интервьюера, интервьюируемого и интерпретатора<sup>7</sup>. Таким образом, оказывается, что от лица одной и той же социальной и возрастной группы и даже от одного и того рассказчика один и тот же интервьюер может получить

совершенно различные воспоминания, в зависимости от массы сопутствующих субъективных факторов.

Но самое главное разочарование oral history заключается в том, что ей так и не удалось обнаружить никакой «настоящей памяти» как некоей особенной, альтернативной картины, как не удалось ей и уйти от властных, доминирующих дискурсов (ради чего она изначально и замышлялась). Стало ясно, что, по выражению П. Крылова, против ожидания интервьюера на коммуникативную память информанта мощнейшим образом воздействует та самая «официальная версия» прошлого, противоядием от которой считал устную историю Пол Томпсон<sup>8</sup>. В результате, как констатируется в одной из недавних монографий, у каждого бывшего советского человека имеются как минимум две разные биографии в рукаве, и каждая из них может существовать в нескольких версиях, которые отличаются как выбранными фактами, так и интерпретациями, а собранные нарративы нередко напоминают фразы из учебников и репродуцируют официально одобренные мнения<sup>9</sup>. Во избежание такого «обмана» и в поисках «настоящей» памяти авторы предлагают опрашивать нужную персону через некое доверенное лицо (или опрашивать доверенное лицо о нужной персоне) или «проверять» сведения, изложенные респондентом, по письменным источникам (как официальным, так и личным: фотографиям, дневникам, справкам, документам)<sup>10</sup>. Вопрос о том, что же тогда остается от «памяти», повисает без ответа, да и сама устная история как направление теряет смысл, становясь подпоркой к тем письменным документам, от которых изначально намеревалась уйти.

Вчитываясь в собранные материалы и размышляя над тем, что и как говорят респонденты, а еще более над тем, о чем и почему они молчат, какой властный из менявшихся на советском и постсоветском пространстве дискурсов они интериоризируют и опознают как «собственный», — я все более склонна была полагать, что вся так называемая «большая» история, о которой они вроде бы вспоминали, в конечном счете оказывалась не более чем фоном для глубоко выстраданной личной истории себя как удачника или неудачника, счастливица или страдальца, героя или жертвы. Иначе говоря, каждый наш собеседник излагал не только написанную в ожидания группы, социума и интервьюера, но также, и, может быть, прежде всего соответствующую его внутреннему самоощущению версию событий. Респонденты с самоконцепцией, условно говоря, «победителя» видели гораздо больше позитива и в ситуации войны, и в оценках власти, нежели собеседники с ярко выраженным позиционированием себя в различных оттенках «несчастливости», «непризнанности» и «жертвы». Рассказ последних зачастую даже в интонационном плане был исполнен неуверенных, мягких, жалующихся, обиженных, страдательных нот, тогда как монологи «борцов», «игроков», «победителей» звучали гораздо более напористо. В таких обстоятельствах верить сообщениям информанта о «большой» истории, что называется, «напрямую», не делая поправку на самоконцепцию его собственной жизни, выглядело бы слишком неосторожным. Те «социальные рамки» памяти, о которых писал Хальбвакс и многие вслед за ним, по-видимому, работают гораздо тоньше и совсем не так прямолинейно, чтобы находить их и судить о них с позитивистской простотой. Может быть, и сам нынешний кризис устной истории

был заложен именно тем прямолинейно-социологизаторским подходом, который видел в человеке только отражение и слепок его «группы», а индивидуальный психический мир представлял как досадную «погрешность» жанра. На самом деле, любые сообщения о прошлом (т.е. собственно источники, в отличие от следов-остатков) — дневники, письма, мемуары, аналитические отчеты, и т. д. — хранят отпечаток человеческой субъективности. Как это не банально, но, по-видимому, для человека главной всегда действительно выступает трагедия его собственной жизни. Она может быть осмыслена в оптимистическо-героическом дискурсе и таким образом вписана в «историю страны», а может быть осмыслена и в страдальчески-жертвенном ключе, и тогда общая «история страны» тоже будет выглядеть иначе. О важности реконструкции и реинтерпретации жизненной «роли» персонажа писал и такой авторитетный специалист в области биографического штудий, как А. В. Валуевский<sup>21</sup>.

От чего зависит выбор жизненного самоощущения и жизненного «сценария», трудно сказать: здесь играют свою роль и социальное окружение, и культурные потоки, и мелкие обстоятельства жизни, в той или иной степени осмысленные и, значит, сюжетизированные, и особенности психического развития конкретной личности; если понимать все вышеперечисленное как тексты (а именно так их понимает логоцентрическое мышление), имеет смысл исходить из принципа интертекстуальности, понимаемого — сошлемся ли мы при этом на Ю. Кристеву, на Р. Барта или на А. Эткинду<sup>22</sup> — как ситуация, когда текст опирается на текст, а сюжет (в том числе сюжет собственной жизни) на сюжет. (То обстоятельство, что сам жанр припоминания подразумевает сюжетность, думаю, не вызывает сомнений).

В известной классификации Х. Уайта, всякое сюжетное изложение истории (в том числе, истории собственной жизни) может быть осуществлено в рамках одной из четырех возможных жанров (как роман, как трагедия, как комедия или сатира), и от выбранной формы зависит комплект «событий», которые окажутся включенными в повествование в качестве фактов. При этом если роман «в своей основе есть драма самоидентификации», «драма триумфа добра над злом», то сатира — «это драма обреченности, подчиненная опасению, что человек в конечном счете есть лишь скорее пленник этого мира, чем его господин», комедия осуществляет финальное «примирение людей с людьми и их миром и обществом», а трагедия означает примирение человека с неизменными и вечными условиями, в которых он обречен жить<sup>23</sup>. Уловить внутреннее самоощущение человека по его речи, и провести параллели между его жизненным сценарием и той картиной прошлого, которой он рисует, — увлекательнейшая исследовательская задача, и, двигаясь на этом пути к психологии, мы рискуем отдалиться от «классической» истории не более, чем двигаясь от нее к социологии или антропологии.

Драма самоидентификации и преодоление чувства вины перед репрессированной матерью составляют сюжет жизненного романа рассказчицы Тз, и ничто другое не является для нее важным по сравнению с этой темой:

«...в основном я жила с теткой, которая мне заменила и маму, и папу, и всех, которая меня поставила на ноги, выучила, ну, и, конечно, то, что я была самая младшая в семье — от меня

очень многие вещи, мне не говорили, то есть, практически, очень, очень долгое время я даже не знала, где у меня родители. Я не понимала. Особенно вот это тяжело переживалось в первом классе. Это был 42-й год, шла война, дети, ну, как правило, хвастались своими папами — у кого летчик, у кого связист, у кого, там, пулеметчик. Спрашивают: а кто у тебя папа? Я молчу, потому что я не знаю. Прихожу домой — в слезы: где папа, почему папа, почему у всех есть папа, а у меня нет, почему я не знаю? Ну, обходными путями мне пытались как-то; то есть мне никто ничего не говорил. Долгие годы я вообще не понимала, не знала. Я не знала, где моя мама, кто такая моя мама, почему у всех она есть, а у меня ее нет. Когда она вернулась, вернулась она через 8 лет, которые она провела в Темниковских лагерях, это в Мордовии, специальные женские лагеря, она вернулась, у нее была большая трагедия, я считаю — потому что если старшие дети ее помнили, с ней общались, то я ее игнорировала полностью, для меня она не существовала, для меня это был чужой человек. И этот лед отчуждения у нас прошел, я бы сказала, не сразу, это прошло много лет, прежде чем я начала к ней оттаивать...»<sup>24</sup>.

Многие годы эта женщина отработывала, и продолжает отработывать до сих пор (будучи руководителем мемориального общества, занимающегося судьбами репрессированных женщин) свою детскую боль, это искупление стало для нее смыслом существования, а история страны сделалась фоном и «хором» для обрамления ее личной драмы.

Подлинным трагизмом, нереализованными амбициями и глубокой несчастливецостью веет от рассказа учительницы У11 (1961 г.р.). Даже учителем она стала не по своей воле, а потому, что «так повернула судьба». Изначально хотелось большего:

«В 1978 году поступила в ЧелГУ, в котором сначала не было педагогического уклона, а в начале 80-х вышло постановление правительства о том, чтобы сделать ЧелГУ педагогическим университетом. Бросать учебу было бессмысленно, поэтому пришлось учиться дальше».

В начале 1980-х гг., действительно, шла дискуссия о возможном закрытии названного учебного заведения, но довольно быстро подобные разговоры прекратились, более того: в 1990-х гг. университету удалось даже существенно повысить свой рейтинг; с другой стороны, выпускники всех университетов, не только ЧелГУ, чаще всего попадали именно в школу. По-видимому, наша рассказчица все-таки надеялась остаться в науке, и эти надежды не сбылись. Может быть, в университете были оставлены менее талантливые выпускники, чем она, может быть — вполне достойные; так или иначе, вся ее судьба подается ею как одна большая обида: на «обстоятельства», на мужа, частые командировки которого укрепили броню ее человеческого одиночества. Разве можно после этого удивляться тому, что история ее семьи и страны в целом подается ею с той же трагической интонацией — ведь повсюду «ложь», обман. Ее главное чувство к родине и государству — все та же обида (и уже к этому чувству подбираются соответствующие обстоятельства):

«Мое поколение выросло в эпоху «оттепели», после страшных 40-х и жестоких 50-х, и в эпоху «застоя». В 60-х прошло мое детство. Может быть, поэтому на всю жизнь осталась романтиком, люблю общение, состояние общего подъема, слаженности, люблю энергичных,

интеллектуально развитых, мажорных людей. <...> Очень чувствую чужую боль; наверно, впитано это было с детства, от отца, по судьбе которого тяжело прошли 30-е годы. Он тогда лишился отца. И 40-е, военные — контузия, плен, а затем пожизненное чувство вины и загнанности. Сорок лет я слышала, как отец почти каждую ночь во сне ходил в атаку, кричал, и защищал меня и маму от фашистов, а смотря советские фильмы о войне, скрипел зубами и горько вздыхал, видя экранную ложь. Перед ним были закрыты двери в партию, на руководящую должность, выезд за границу. Даже в Калининград не пустили бросить родной земли на братскую могилу, где похоронен его брат. Тогда это было все непонятно. А особенно — неожиданная бурная реакция отца на мой отказ, в конце 80-х, вступить в партию, так как это было все искусственно, не от души — партия была не с народом. Тогда впервые я услышала неожиданные для себя откровения» (У11, 1961 г. р.).

Мужской вариант неудовлетворенного честолюбия и личностных обид, перенесенных на обстоятельства «большой истории», представляет рассказчик А5 (1946 г.р.), родившийся в интеллигентской семье. Несмотря на внешнюю состоятельность (счастливый второй брак, дети, престижная профессия юриста и материальная обеспеченность), А5 позиционирует себя в духе текстов о неприкаянной маргинальной интеллигенции: подчеркивает, что играл опальный джаз, слушал «Голос Америки», а его стихи и новеллы были отвергнуты. Он охотно излагает эпизоды «гонимости» (его отец, выходец из семьи зажиточных казаков, горный инженер, воевал в свое время и за белых, и за красных, стал ярым коммунистом и атеистом, был арестован в 1937 г. по доносу друга и выселен со всей семьей), но там, где повествование логически выходит к его сегодняшней успешности, резко обрывает свой рассказ. Реальная успешность дисгармонизирует с его внутренним сценарием отверженного, сценарием, к которому он так заботливо и красиво выстроил декорации:

«В школе нам преподавали профессора и доктора наук — все репрессированные из Ленинграда. Был даже академик, но ему запретили преподавать, и он работал завхозом в школе и ходил с колокольчиком, объявляя перемены. <...> Но обхождение их с нами было очень уважительным. В отличие от преподавателей истории и географии... Преподаватель истории была секретарем парторганизации. Это была одинокая, маленькая, но подвижная женщина с крикливым голосом и язвительно-высокомерным выражением лица. Она без особых усилий оскорбляла любого ученика, делая это с особой изощренностью и явным наслаждением, публично. <...> Новый директор школы... постучал мне по лбу своим жестким пальцем на глазах всего класса, стоявшего в тупом онемении, и сказал: <...> "Надо будет, выгоним всех и не только тех, кто разглагольствует про генетику и кибернетику. Вражье отродье! И с родителями где надо поговорят". На перемене мне вручили мое личное дело и отправили домой. Я "разглагольствовал" незадолго перед этим среди сверстников о будущем кибернетики. Необходимо отметить, что два года назад мой друг, сын бывшего директора школы, в сильном подпитии просил у меня прощения за то, что тогда именно он "заложил" меня, а потом съездил в Артек-пионерлагерь для "избранных"».

Нельзя не отметить высокую степень литературности этого текста, наверняка уже где-то ранее записанного автором. Думаю, многие из наших респондентов задолго до ситуации записи биографического интервью уже продумывали и внутренне выстраивали текст о собственной жизни, как полагается, с неким сюжетом и моралью.

Вспомнив еще раз принцип «презюмции интертекстуальности», можно с достаточной очевидностью увидеть «уши» некоторых заимствованных текстов. Нередко биографические рассказы, с точки зрения сюжетности, просто в той или иной степени обыгрывают известные мифологемы. Приведем несколько примеров.

История об утраченном Рае, где в качестве символа этого Рая, метафорой счастья и безмятежности выступает дорогой отцовский рояль, на котором затем греется плитка эвакуированных квартирантов, и окончательное расставание с которым знаменует потерю отца, как источника счастья, так что вся последующая жизнь героини предстает уже как «расколдованная» жизнь на грешной земле, с непреходящей горчинкой утраты (рассказчица А1, 1928 г.р., певица, преподаватель вокала).

Рассказ о «царевне» (так сказано о себе у самой рассказчицы), танцующей девочке, рожденной для счастья и радости, но за отказ быть отданной проезжавшим беженцам навеки заколдованной ими в не умеющую радоваться и любить, суровую, неженственную амазонку, Бабу Ягу (К4, 1921 г.р., учительница начальных классов).

История об Эдипе-изгнаннике, трагически изгнанном со своей малой родины и живущем в конфликте с родиной большой, избегающем говорить о своих родителях, братьях и сестрах и упрямо позиционирующим себя «сиротой» и «безотцовщиной» (рассказчик Б1, 1928 г.р., преподаватель в колледже).

Вариант сказки о Золушке, выхваченной из нищеты и обыденности феей, причем образ феи для его усиления дублируется на двух персон — столичную певицу Басову и Е. Ф. Гнесину. Характерно, что рассказ Л1, выглядящий как повесть о награждении героини «счастьем» за ее добродетель и перенесенные страдания, обрывается на моменте рождения ею ребенка: то обстоятельство, что ее единственный ребенок родился тяжело и неизлечимо больным, осталось за рамками рассказа, как нарушающее логику сюжета (Л1, 1928 г.р., певица, преподаватель вокала).

Плутовская повесть об игроке-трикстере-актере, долгое время убедительно и с увлечением игравшего, например, в бравого вояку (Е2, 1926 г.р., актер, преподаватель актерского мастерства).

Осмысление самого себя в границах того или иного сюжета предполагает наделение партнеров по жизни соответствующими ролевыми значениями. Нелюбимого мужа рассказчица Л1, тем не менее, как Золушка, представляет Принцем (он хорош собой, красиво и дорого ухаживает, и у него подчеркнута нет в рассказе личного имени). Распад Рая означает для Л1 прогрессирующее погружение во зло, даже если реальные факты, о которых она неохотно проговаривается, рисуют ее жизнь на общем фоне отнюдь не такой трагичной. Респондентка К4, как воплощение древнего женского культа, «пожирает» своих слабых мужчин, мужа, зятя, возможно, и сына; Е2, как плутовской бог, внесексуален, женщинам нет места в его жизни (в реальности он вполне счастливо женат); а Б1, как и полагается Эдипу, почти ничего не говорит ни о родителях, ни о своих детях.

Рассматривая «власть» как пространство санкционированного ею порядка, Б1 воспринимает свое бытие при «советском режиме» как пребывание на чужбине, где ему все одинаково чуждо: и колхозный строй, и пиррова Победа над фашизмом, и «ложь» коммунизма, и безнравственность «демократии».

Трудно сказать, в какой степени на общем человеческом стремлении осмыслить, оправдать и принять то, что так или иначе случилось в жизни, «подправив» ради этого реальные факты, отразилась интеллигентская сущность участников этого проекта. Повидимому, связь между творческим складом личности, привычкой к (само)анализу и разработанностью (убедительностью) личной мифологии действительно имеет место. В немалой степени избираемую роль и тип сюжета предопределяют также неизжитые и тщательно маскируемые комплексы рассказчика. У Б1 это, по-видимому, глубокий конфликт с родителями, а также травматический опыт, связанный с собственной национальностью. Он лишь однажды, в начале интервью, очень прозрачно проговаривается о том, что принадлежит к немцам Поволжья; затем, сообщая, что часто бывает за границей, умалчивает о том, что плацдармом для его путешествий служит семья его дочери, осевшая в Германии и вполне благополучная. У Е2 сюжетобразующим толчком вероятно, выступает необходимость преодоления идущего из «ссылкокаторжного» детства отчуждения от родины, что и достигается им через серию воинских походов, о которых рассказывает с упоением и бравадой. Эти походы стали его инициацией, искуплением кровью, после чего он наконец обрел идентичность с общиной. У женщин специфической «болевым точкой» выступает, судя по всему, отсутствие полноценной женской самореализации. «Женскость» понимается ими как обязанности и долженствования, но практически ни у кого нет ощущения своей «женскости».

Наконец, склонность наших респондентов к мифологизации собственной жизни — это еще и растущая с возрастом иррациональность и не критичность сознания, старческое возвращение к своим истокам, к тем категориям, которыми они жили и мыслили в том возрасте, когда мир казался волшебной сказкой, папа — добрым и всемогущим волшебником, а проезжавшие беженцы — демонами и колдунами. Рассказ самой старой из респонденток — К4 — вообще *былин*: «Я говорю: “Мама, когда я родилась?” Она сидела-сидела: “Был голод. Была Маслена”. Так Маслена-то — неделя!» У меня и в паспорте-то, продолжает рассказчица далее, нет, по-моему, ни месяца, ни числа. Вот так, совершенно по Гоголю: года не было, числа не было, а было черт знает что. Удивительно показательный для всех «слабостей» и всех возможностей устной истории момент, в котором «большой мир» и «большая история» едва ли не проигрывают внутреннему миру «маленького человека».

<sup>1</sup> Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности/Пер. с нем. М. М. Сокольской. М., 2004. С. 37, 19, 38.

<sup>2</sup> См. об этом, напр.: Репина Л. П. Коллективная память и мифы исторического сознания //Сотворение истории. Человек-память-текст: Цикл лекций/Отв. ред. Е. А. Вишленкова. Казань, 2001.

<sup>3</sup> См.: Thomson A. Anzak Memories: Putting Popular Memory Theory into Practice in Australia//The Oral History Reader/Ed. by R. Perks and A. Thomson. Routledge, 2002. P. 300–311.

<sup>4</sup> См.: Томпсон П. Голос прошлого. Устная история/Пер. с англ. М., 2003. С. 18.

<sup>5</sup> Лоскутова М. В. Устная история: Методические рекомендации по проведению исследования. СПб., 2002. С. 32.

<sup>6</sup> Поршнева О. С. Методология и методы изучения культурной памяти//Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии/Ред. И. В. Нарский и др. Челябинск, 2004.

<sup>7</sup> Лоскутова М. О памяти, зрительных образах, устной истории и не только о них//Ab imperio. 2004. № 1. С. 81.

<sup>8</sup> См.: Крылов П. Обретение исторического слуха: парадигмы изучения неофициальной памяти//Новое литературное обозрение. 2005. № 74.

<sup>9</sup> *On living through Soviet Russia*/Ed. by D. Bertaux. London, 2004. P. 9.

<sup>10</sup> Allen B., Montell W. L. From memory to history... P. 84–86; Hoffman A. Reliability and Validity in Oral History//Oral History. An Interdisciplinary Anthology/Ed. by D. K. Dunaway and W. K. Baum. 1984. P. 69.

<sup>11</sup> Валецкий А. Л. Основания биографики. Киев, 1993. С. 28.

<sup>12</sup> См., напр.: Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М., 1998. С. 108.

<sup>13</sup> Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 28–29.

<sup>14</sup> Все записанные интервью находятся в данный момент в архиве автора и готовятся к публикации. Часть материалов размещена на сайте Южно-Уральского государственного университета. См.: [www.polit.susu.ac.ru/pi3.shtml](http://www.polit.susu.ac.ru/pi3.shtml)

Rosalia CHEREPANOVA

ORAL HISTORY:  
FROM THE SOCIAL FRAMEWORKS  
OF MEMORY TO THE DISCOVERY OF A SUBJECT

Working with various oral history materials, such as the stories of soviet and post-soviet *intelligentsia*, the authors makes an attempt to rehabilitate the role of individual mental world and life experience in formation of certain vision of the past. Rather than focusing on the theory of «social frameworks» of memory, the author contemplates the ways of overcoming the ongoing crisis of oral history which is significantly affected by the current political agendas and preferences of Russian Federation. Relying on Hayden White's theory of narrative, the author argues that to analyze oral stories as narratives one needs to see them as rooted in the long tradition of pre-existing texts, as well as intertexts, and as built upon certain plots, genres, and metaphors.